



Выбор интерпретации как проблема социальной эпистемологии¹

В.Н. ПОРУС



Социальная эпистемология – свод попыток придать философский смысл социологическим исследованиям познавательных процессов в их социальном контексте. Эти попытки осуществляются через конкуренцию философских интерпретаций. Выбор интерпретации диктуется стремлением привести ценностные ориентации науки в соответствие тем запросам, которые ей предъявляет изменчивая культурно-историческая среда. Концепция «нормативного этоса науки» Р. Мертона рассматривается как иллюстрация этого тезиса.

Ключевые слова: социальная эпистемология, социология науки, философия науки, культура, ценности, этос, интерпретация, истина.

Социальная эпистемология – философия или наука?

Тенденция, состоящая в том, что проблемы, искони числившие-

¹ В данной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта, реализованного в рамках программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012–2013 гг., грант № 11-01-0065 «Эпистемологический анализ проблемы культурной идентичности», а также в рамках исследовательского проекта «Субъект и культура: основы междисциплинарного исследования проблемы», поддержано ЦФИ НИУ ВШЭ, ТЗ 55, 2012 г.



ся за философией, теперь ставятся и решаются специальными науками, так укоренилась, что сомневаться в ней – рисковать быть обвиненным чуть ли не в обскурантизме. Она восходит по меньшей мере к позитивизму, хотя сегодня уже неотягощена его былыми амбициями. Например, некогда выглядевший привлекательным лозунг «Unified Science» уже никем всерьез не принимается и вряд ли кто верит в универсальные «демаркации» между «эмпирически обоснованной наукой» и всякого рода «метафизикой». Зато популярна идея о «междисциплинарности» научных исследований в тех предметных областях, которые по той или иной причине пока еще остаются в совместном ведении ученых и философов (например, в исследованиях сознания и познавательных процессов, в методологических штудиях, в определениях социальной структуры или систем поведенческих ориентаций и проч.), причем философия участвует в этом альянсе, так сказать, на равных со специальными науками, стараясь по возможности из него не выпасть (и уж, конечно, не претендуя на какую-то «ведущую» или «организующую» роль; довольно и того, что ее в этом ряду терпят, возможно, за былые заслуги, но прислушиваются к ней только тогда, когда она с грехом пополам изъясняется на кое-как усвоенных языках специальных наук, по мере сил переводя на них свои собственные проблемы). Эти усилия все же не пропадают зря. За это философию иногда более или менее уважительно именуют «когнитивной наукой», «теоретической антропологией», «методологией науки» или как там еще. Все довольны.

Вот и социальную эпистемологию одни относят к философии, другие видят в ней синоним социологии познания, третьи – нечто среднее между первой и второй². Как бы то ни было, в этой ныне интенсивно развивающейся области исследований делаются попытки решать традиционные проблемы философии познания методами социологии. В какой мере они удачны? По замечанию И.Т. Касавина, «проблемы, над которыми задумываются социальные эпистемологи, являются философскими в той степени, в какой они оказываются неразрешимыми; специальные же задачи могут успешно решаться в рамках исторического, социологического, психологического и других способов исследования знания»³. Пусть так, но позволительно спросить: какой смысл биться над не-

² См. дискуссию по докладу *Е.А. Мамчур*: Еще раз о предмете социальной эпистемологии // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. XXIV, № 2. С. 44–74.

³ *Касавин И.Т.* Социальная эпистемология: к истории и постановке проблемы // Социальная эпистемология. Идеи, методы, программы; под ред. И.Т. Касавина. М., 2010. С. 14.



разрешимыми проблемами, когда вокруг столько возможностей успешного решения специальных задач? Или более прямо: в чем ценность собственно философского исследования, если оно не заканчивается ничем, что стоило бы назвать успехом – в простом и понятном смысле этого слова?

Конечно, подобные вопросы можно снисходительно называть наивными. Кто же, дескать, станет мерить ценность философского мышления аршином «здорового смысла»? Но эта поза – не позиция, с какой сегодня можно защищать ценность философии. Слишком острым нападка она подвергается, слишком неопределенной выглядит ее роль в современной культуре. Дискуссии о статусе социальной эпистемологии могли бы (и должны) стать еще одним поводом для выступлений в защиту чести и достоинства философии.

На Мосту Интерпретаций

Скажем так: социальная эпистемология – это свод попыток придать философский смысл социологическим исследованиям познавательных процессов в их *социальном контексте*. «Контекст» – вообще говоря, ключевое слово для понимания специфики социальной эпистемологии. Она действительно претендует на контекстуальное исследование познания и знания (со всеми возможными и соответствующими «наслоениями», зависимостями, коннотациями и т.п.). Контексты, что вполне очевидно, бесконечно многообразны и переменчивы, поэтому результаты их исследований не могут быть истолкованы раз и навсегда исходя из каких-то априорных установлений. На всякий контекст не напасешься установлений, да и априорность противоречит контекстуализму как концептуальному основанию социальной эпистемологии. Ведь контекстуальны и знание о знании, и рефлексия над ним и т.д., *ad infinitum*. Может показаться, что «контекстуализм» «примиряет» с логическим кругом, что вроде бы дискредитирует этот принцип. Но в том-то и дело, что это «примирение» в кавычках. По сути же изгнание призрака *petitio principia* заключается в том, что контекст постоянно проблематизируется, т.е. *проблема*, якобы разрешенная в одном контексте (тем самым перешедшая в ранг *задач*), вновь обретает свой прежний статус уже в другом контексте.

Но если так, постоянное возвращение проблемного статуса социологически решаемым задачам, связанным со зна-



нием и познанием, возможно только в том случае, если оно направляется философским смыслом как горизонтом процесса проблематизации (иначе сам процесс был бы монотонным чередованием вопросов «почему?», не имеющим направления, чем-то вроде детской забавы «почемучек», только без свойственного детям радостного и необъяснимого веселья). Значит, социальная эпистемология – это что-то вроде моста, соединяющего социологию познания с философией. Кому и зачем этот мост нужен?

Вряд ли по нему без особой нужды станут прогуливаться социологи, имеющие довольно занятых в своей области и умеющие сберегать усилия для более успешных применений, или философы, покамест благодушно уверенные в своей самодостаточности. Но если все же и те, и другие, найдя для того какие-то резоны, отправятся на встречу друг с другом, то ступив на этот мост, они ощутят его шаткость. Обе опоры как-то нестабильны. С одной стороны, философия «плюралистична», а потому ее проблемы, связанные с познанием, формулируются так по-разному, что могут и вовсе исключать или обесмысливать друг друга. С другой стороны, социологи не могут ссылаться на «факты» как на нечто философски нейтральное. И подбор информации, и методы ее получения, а главное – способы обобщения и осмысления зависят от онтологических и гносеологических предпосылок, как бы это ни оспаривалось теми, кто желал бы и впредь мыслить в режиме демаркации. И эти предпосылки могут быть различными в зависимости от того, к какой философской позиции присоединяются (явно или неявно) сами социологи.

Поэтому если встреча все же состоится, она может стать либо церемониальной демонстрацией взаимной вежливости, либо, напротив, поводом для перечня «взаимных болей, бед и обид». Но может быть и по-другому. Если она будет вызвана реальными потребностями обеих сторон, удовлетворяемыми только совместными действиями. Например, когда социологи обнаруживают, что их наблюдения и методы приводят к противоречивым заключениям или видят несовместимость различных объяснений одних и тех же познавательных процессов (в первую очередь ситуаций в научных исследованиях), а философы, изможденные нескончаемыми спорами, ищут поддержки своим идеям в фактической информации, какой они ждут от социологов. Тогда мост – не декорация, а нечто реально важное. Назову его Мостом Интерпретаций. Запоминается легко. Впрочем, название можно и переменить, если найдется что-то получше.





Конечно, мост – не для прогулок, а полигон исследовательской стратегии: изучения *познания в контексте* (прежде всего культурно-историческом). Поскольку разнообразие и изменчивость контекстов практически бесконечны, результаты таких исследований не могут быть истолкованы раз и навсегда, исходя из каких-то принятых философских установлений. Здесь встречаются два «плюрализма»: веер философских концепций познания и спектр контекстуальных описаний и объяснений познавательных ситуаций. Да и сама встреча, коль скоро она тоже происходит в определенном контексте, есть событие, которое может быть по-разному осмыслено философами и получать различные (опять же контекстуально зависимые) социологические описания. Можно исследовать такие события, прибегая к философской ауторефлексии и/или к методологическому анализу социологических результатов. Но эти попытки очевидным образом привели бы к логическому кругу или к *reduction ad infinitum*. Какое из двух зол лучше? Оба хуже.

«Нормативный этос науки» Мертона как социально-эпистемологическая концепция

Как выбраться из логической западни? Построить модель связи между участниками встречи на мосту Интерпретаций, которая позволила бы *рационализировать* эту связь, т.е. вырвать ее описание из логических кругов и бесконечных редукций.

Контуры такой модели подсказывает пример взаимозависимости социологических исследований и философских интерпретаций их результатов, какой дает концепция научного этоса Р. Мертона⁴. Она общеизвестна, поэтому я не стану реферировать ее содержание. Напомню только, что в ее рамках сформулирована система «императивов профессионального поведения» (CUDOS⁵), которым должны следовать ученые,

⁴ Merton R. The Institutional Imperatives of Science // *Sociology of Science*; ed. by V. Barnes. L. : Penguin Books, 1972. P. 65–79; *his: The Normative Structure of Science* // R. Merton. *The Sociology of Science*. Chi. : Univ. of Chicago Press, 1973. P. 267–268; Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М. : АСТ, 2006.

⁵ Аббревиатура, составленная из заглавных букв английских названий этих императивов: communism, universalism, disinterestedness, organized skepticism; их содержание анализировалось бесчисленное число раз (см., например: Мирская Е.З. Этос науки: идеальные регулятивы и повседневные реалии; Демина Н.В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной геометрии норм // Этос науки ; под ред. Л.П. Кияченко, Е.З. Мирской. М., 2008. С. 123–143, 144–165).



чтобы наука была успешной. Эта система без особых оговорок стала фигурировать на страницах философских дискурсов о науке, тем более что сам Мертон не был особенно озабочен различиями между социологией науки (одним из создателей которой он по справедливости считается) и философией науки. Возможно, потому его концепцию часто ставили в один ряд (или связывали по смыслу) с идеей «Большой науки» К. Поппера, и в этом был некий резон. В обеих концепциях речь о принципиальных установках, какими должны руководствоваться ученые в своей деятельности, об их ценностном характере и о том, что именно такие, а не иные установки составляют комплекс условий, при которых наука живет и развивается «правильно», т.е. достигает своих целей наиболее эффективным образом.

По сути оба мыслителя подходили к определению, так сказать, трансцендентальных условий научного познания, разумеется, с тем очевидным (и радикальным!) отличием от классического трансцендентализма, что сами эти условия создаются людьми и действуют только до тех пор, пока с ними согласны по меньшей мере представители научной элиты. Но различие их подходов существенно. Для Поппера несомненно, что универсальность этих условий сама собой вытекает из всеобщности методологических правил, образующих доктрину «фальсификационизма»; поэтому он не видел надобности в какой-то особой концепции научного этоса, ибо считал, что лучшим этосом ученого является следование правилам научного метода (И. Лакатос даже называл попперовскую методологию «моральным кодексом фальсификациониста»⁶). Но у Мертона принципы этоса выводятся из *исторического и социологического анализа научных институтов* (в их взаимодействии с социальными, идеологическими и религиозными институтами). Этот анализ осуществляется им с позиции функционализма и в дальнейшем используется при объяснении различных социальных дисфункций, в особенности тех, какие вызываются разрывом между целями культуры, с одной стороны, и возможностями социальных институтов обеспечивать достижение этих целей – с другой.

Если бы выводы социолога науки воспринимались именно как социологические (а не философские), то философам оставалось бы только радоваться или огорчаться в зависимости

⁶ См.: Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ // И. Лакатос. Избранные произведения по философии и методологии науки. М., 2008. С. 287.



от того, соответствуют ли эти (научные!) выводы философским гипотезам о характере научно-познавательной деятельности или, напротив, не согласуются с ними. Но концепция Мертона была воспринята философами иначе: они сразу увидели в ней философский смысл и соглашались с ним или оспаривают его так, как это возможно в плюралистической философской среде. Это напоминает историю с историком науки Т. Куном, которого причислили к философии науки XX в. и даже сделали одним из ее корифеев: одни затем, чтобы найти в его концепции аргументы в пользу релятивизма, другие – чтобы на ее примере показать пагубность последнего для научной рациональности, третьи – чтобы наконец перевести отвлеченные философские рассуждения на язык историко-научного исследования.

На самом же деле прочтение мертоновской концепции философами было не чем иным, как *интерпретацией* (и потому таких прочтений могло быть столько, сколько различных философских позиций задействовано в ней)⁷.

Например, такая норма научного этоса, как «organized skepticism», могла интерпретироваться по-разному. У Мертона она означает этически фундированную готовность ученого поставить под сомнение даже основы, не говоря уже о частностях, своей науки, если на то подвигают опыт и логика, а если эти основы – мнения высших научных авторитетов, то отказаться от этих мнений ради *истины*. Последний термин – не из словаря социологии. Он маркирует извечную философскую проблему. И она ставится и решается по-разному в различных философиях. А следовательно, и норма научного этоса, если она интерпретируется философски, приобретает разные смыслы.

Например, ее можно прочесть так: ученые следуют этой норме, поскольку верят в *существование истины*, какой бы

⁷ Философской интерпретации как эпистемологической проблеме посвящены содержательные работы Л.А. Микешиной. Она отмечает: «В философии мы имеем дело с двумя главными объектами интерпретации – “вещами” (реальные события, объекты природы и человеческой деятельности) и текстами. Интерпретативное философское знание о “вещах” – “первичная” интерпретация, сродни эмпирическому научному знанию, поскольку предлагает толкование конкретных данных и понятий, т.е. осуществляет “работу” в слое фактического знания, делает его доступным пониманию. “Данные” становятся “фактами” лишь вследствие интерпретации. Однако близость к фактам вовсе не может гарантировать обоснованность, достоверность самой интерпретации, поскольку они находятся на различных логических уровнях; факты лишь материал для интерпретации, характер которой определяется “внематериальными” – дорефлексивными или рефлексивными методологическими, мировоззренческими и другими принципами» (Микешина Л.А. Специфика философской интерпретации // Вопросы философии. 1999. № 11. С. 7–8). См. также ее статью: «Интерпретация как фундаментальная операция познания» (Эпистемология и философия науки. 2008. Т. XVIII, № 3. С. 5–13).



смысл ни вкладывался в этот термин. Разумеется, вера ученого в истину – не та, что вера богослова, но у них есть общее: они верят в то, что истина есть *цель* познания, существующая независимо от движения к ней. Поэтому успешность познания измеряется тем, приближает оно к этой цели или не приближает, а то и отдаляет от нее. Именно поэтому функциональность институтов, предназначенных для осуществления познавательных процессов, зависит от того, что перевешивает: комфорт согласия ученых с мнениями научных авторитетов или степень приближения к истине, хотя бы это приближение и было для них сопряжено с трудностями и беспокойством.

Слегка отклоняясь от темы, скажу, что именно «классическая наука», ратовавшая за свободу рациональности от религиозной догматики, в известном смысле все же может считаться законной наследницей богословия, взяв у него жизненно важное для себя – уверенность в том, что познание направляется к истине и эта цель превыше всех иных. Очевидно, что такая интерпретация возможна и по отношению к другим мертоновским нормам научного этоса.

Не очевидно другое: допускают ли эти нормы иную интерпретацию, отличную от названной? Например, такую, когда идейной подоплекой «организованного скептицизма» объявлялась бы вера не в истину, а во всесилие критического метода, дающего возможность науке избавляться от заблуждений, т.е. убеждение, лежащее в основе «критического рационализма» Поппера (напомним, что попперовское представление о целях познания существенно отличается от «классического»). А не совместим ли организованный скептицизм и с «догматизмом», царящим в куновской нормальной науке? В самом деле, ведь этот догматизм относится только к фундаментальным положениям теории, взятой вместе с ее методами за парадигму, но в рамках стандартной деятельности по решению конвенциональных задач даже самому преданному ревнителю парадигмы отнюдь не противопоказано быть критиком самого себя или своих единомышленников; даже напротив, ведь все сомнения, неизбежно возникающие в трудных поисках разрешения научных головоломок, должны относиться именно к исследователю, к его способности правильно использовать возможности, заключенные в парадигме. Но если так, то «универсальные» принципы этоса, оказывается, могут быть скорректированы, приспособиваясь к тем или иным философским интерпретациям.



О конкуренции философских интерпретаций

Мы видим, что на Мосту Интерпретаций может происходить сложное взаимодействие между интерпретирующими и интерпретируемыми положениями; философский взгляд на данные социологов могут изменить если не данные, то их отбор с последующим обобщением, имитирующим «строго научный» вывод. Отсюда вопрос: в каком смысле можно вообще говорить о так получаемых выводах, что они представляют собой «нормы» научного этоса? Иначе: эти «нормы» выводятся из *социологических исследований* или являются следствиями *определенной философской интерпретации* последних?

Социолог, конечно, может попытаться уйти от подобных вопросов (все-таки как-то неудобно ученому признавать, что он *философствует*, а не ищет твердую почву фактов!). Мертон делал такие попытки. В своих ранних работах он считал нормой все, что полезно и разумно для функционирования науки⁸. Но это тоже можно понимать по-разному. В науке – различные нормы: «образцы практической деятельности, с одной стороны, и образцы их восприятия как актов познавательных – с другой», «нормы речевой коммуникации», образцы систематизации знания⁹.

Этос ученого складывается из объединения и пересечения норм, которым, конечно, можно придать и этический смысл. Что может сделать социолог науки, исследуя эти нормы? Он отмечает, что методологические действия ученого нормативны, если они следуют образцам, какие в достаточной мере зарекомендовали себя гарантом успеха. Такие нормы «регулируют построение различных типов теорий, осуществление наблюдений и формирование эмпирических фактов»¹⁰. Принятие норм, как правило, осуществляется автоматически: если ученый работает в рамках какой-то научной традиции, он следует ей как чему-то само собой разумеющемуся. Это отчасти напоминает то, что Л. Флек называл «стилем мышления»¹¹, а Т. Кун – приверженностью «парадигме»¹². Поэтому нормы привлекают внимание социолога скорее не тогда, когда они безусловно вы-

⁸ Мирская Е.З. Указ. соч. С. 130.

⁹ Розов М.А. Нормативная структура науки // Этос науки. С. 197–198.

¹⁰ Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. Гл. III. Структура и динамика научного знания. М., 1996.

¹¹ См.: Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. М., 1999.

¹² См.: Kuhn T. The Function of Dogma in Scientific Research // Scientific Change ; ed. by A. Crombie. L. : Heinemann, 1963. P. 347–369; Second Thoughts on Paradigms // The Structure of Scientific Theories ; ed. by F. Suppe. Urbana : University of Illinois Press. 1974. P. 459–482.



полняются, а когда их нарушают или когда им все-таки следуют, но не автоматически, а под давлением неких социальных обстоятельств (скажем, когда какие-то социальные или политические институты навязывают ученым свои представления о ценностях; тогда именно сопротивление этому давлению может стать силой, охраняющей суверенитет науки¹³). Именно в таких случаях соблюдение или нарушение норм связано с чьими-то конкретными поступками, решениями, выборами. Значит, и социологическое исследование этих ситуаций должно быть конкретным, привязанным к фактам. Можно ли из него вывести универсальные «императивы» поведения ученых?

Ответ скорее всего отрицательный. Слишком разнообразны мотивы поведения конкретных людей, работающих в науке (как, впрочем, и во всякой другой сфере деятельности). Слишком неоднозначна связь этого поведения с результатами научного исследования. Ведь возможны ситуации, когда не соблюдение каких-то этических требований, а наоборот, их нарушение приводит к успеху. Например, если стимулом для ученого является получение более или менее крупного вознаграждения за результат (изобретение, внедрение новации и т.п.), то он способен пойти, так сказать, напролом, не считаясь с моральными издержками, и его шансы на успех могут оказаться выше, чем у «бескорыстного» служителя истины, критически относящегося к промежуточным результатам исследования и потому часто упускающего приоритет, проигрывающего в конкурентной борьбе. Разумеется, само понятие успеха интерпретируется по-разному и различия опять-таки зависят от того, какая философия берется за эту интерпретацию.

Нормативный этос науки, как его изображал Мертон, является следствием некой стоящей за кулисами его социологии концепции «идеальной науки», которая служила «ситом», позволяющим сепарировать социологически значимые факты, отсеивать одни из них и принимать в расчет другие.

Но тогда приходится признать, что его концепция – *схема интерпретации социологических фактов* и потому ее следует отнести к социальной эпистемологии. А это означает, что ее критика (явная или неявная) со стороны альтернативных, например «исторических», интерпретаций эволюции науки (Т. Кун, С. Тулмин, Дж. Агасси, П. Фейерабенд и др.) – спор

¹³ См.: Barber B. Science and the Social Order (with a foreword by R. K. Merton). Glencoe, Ill. : The Free Press Publ., 1952.



между философскими теориями, а не попытки ее эмпирического доказательства или опровержения. Разумеется, то же можно сказать и о некоторых совпадениях этических характеристик науки, по Мертону, и «кодекса научной чести», по Попперу¹⁴. В концепции Куна «нормальный» ученый, следуя моральным обязательствам, наступает на горло своему скептицизму и лезет из кожи, чтобы продемонстрировать всеисилие «парадигмы» (а значит, и правоту господствующих мнений) при решении задач-головоломок. Но Поппер видел в этом *моральное уродство*, заслуживающее, быть может, снисхождения, но только если допустить, что ученый «плохо обучен» или является «жертвой индоктринации». Больше того, он называл это уродство большой опасностью «для науки и, возможно, для нашей цивилизации»¹⁵, имея, конечно, в виду взаимосвязь между «критическим рационализмом» и демократией, которую, ему казалось, разрушают как догматизм кунновской «нормальной науки», так и его изнанка – релятивизм.

Все это, повторю, есть конкуренция философских интерпретаций социологических, исторических, социально-психологических данных. Спор происходит на качающемся мосту, который от усилий спорящих раскачивается еще сильнее. Не вытерпев качки, кое-кто из них иногда сбегает с моста на тот берег, где науковеды (социологи, психологи, историки и проч.) собирают факты о науке и поведении ученых, заимствует у них эти факты (или сам принимает участие в их сборе), а затем, возвращаясь на мост и ссылаясь на эти факты, включает в спор какую-то иную интерпретативную схему объяснения. Конечно, эти перебежки и упражнения не могли бы происходить, когда тому не было бы важных причин. Выяснение этих причин и есть путь рационализации процесса.

Наверное, самой важной причиной можно считать то, что Лакатос называл вырождением научно-исследовательских программ: когда какая-то из них подвергается слишком внушительной критике, когда она все больше занимается самооправданием, чем объяснением фактов, и потому вынуждена уступать оппонентам. Но Лакатос понимал под этим неспособность программы к такому саморазвитию, которое обеспечивало бы увеличение ее «эмпирического содержания», т.е. объема и диапазона объясняемых и предсказуемых научных фактов, более быстрыми темпами и с более дальней пер-

¹⁴ См.: Лакатос И. Указ. соч. С. 287.

¹⁵ Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Т. Кун. Структура научных революций. М., 2001. С. 529, 530.



спективной, чем те, какие доступны ее конкурентам. Однако и позитивный рост, и дегенерация научных программ могут быть поняты в более широком (чем у Лакатоса) смысле. Например, доверие к научно-исследовательской программе (а более общо – к науке как таковой) может падать или возрастать в зависимости от того, как ее работа трактуется аксиологически, иначе от того, отвечают ли ее ценностные ориентации тем запросам, которые по отношению к науке выдвигает культурно-историческая среда.

Например, ориентация на истину как главную и безусловную ценность познания свойственна той исторической стадии развития европейской культуры, на которой наука вдохновлялась замыслом прочесть и понять Книгу Природы, написанную Творцом на языке математики, по выражению Галилея. Но в XX в. теологическая «подоплека» этой ценности сильно «истончилась», если вовсе не сошла на нет. В изменившейся культурной среде упрек в архаичности, брошенный Куном воззрению, согласно каковому наука понималась как «предприятие, которое постоянно приближается все ближе и ближе к некоторой цели, заранее установленной природой»¹⁶ (не говоря уже, разумеется, о Творце, ибо это было бы попросту бессмысленно в понятийных рамках, устанавливаемых концепцией Куна), воспринимается вполне сочувственно. И само понятие «научной истины» переходит из ряда ценностей, составлявших «ядро» системы культурных универсалий, в ряд служебных понятий философии науки, само использование которых требует лингвоаналитических и логических ограничений. Во всяком случае оно не относится к тем, без которых нельзя определить «научный прогресс» или оправдать «научную онтологию».

Сам Кун объяснял этот переход, пользуясь методологическими аргументами: ссылаясь на известный тезис о «теоретической нагруженности» фактов, на вытекающую из него «несоизмеримость» научных теорий (вернее, на «радикальный сдвиг» онтологических допущений, совершающийся после смены «парадигм» научного исследования). Но очевидно, что приемлемость этих аргументов напрямую зависит от изменений запросов, которые культура адресует науке, от смены ценностных ориентаций последней. Теперь прогресс научного знания может пониматься без апелляции к культурной ценности «истины», а получать выражение в таких терминах, как «точность предсказаний», «увеличение числа проблем,

¹⁶ Кун Т. Структура научных революций. С. 266.



разрешаемых новыми теориями по сравнению с их предшественницами» и т.п. Значит, успешность науки также выражается в этих терминах, а это не может не сказаться на умонастроениях ученых и философов, реагирующих на изменение ее социально-культурного статуса. Отсюда – изменение в понимании условий «успешного действия» в науке, что и составляет один из важнейших предметов, какими интересуется социальная эпистемология.

Если так, то она может формулировать правила «успешного развития науки», которые совсем не обязательно совпадут с нормами научного этоса по Мертону. Значит, придется выбирать, какие «нормы» или «правила» считать условиями успеха научно-познавательной деятельности. А чем следует руководствоваться в таком выборе? Умонастроениями ученых и философов?

Кому-то покажется странным утвердительный ответ на такой вопрос. Но в нем нет ничего странного. Он означает только то, что научное (социологическое, но не только оно) исследование научных же процессов происходит в культурном контексте и несет на себе его влияние. А нормы и правила успешности науки формулируются во взаимосвязи этого исследования с ценностно-философскими установками, позволяющими интерпретировать его результаты.

Культурная роль мифов о науке

Если мы согласились с тем, что выбор интерпретаций зависит от того, какие запросы науке адресует культурная среда и как интерпретаторы оценивают эти запросы, то придется согласиться и с тем, что получаемые таким образом нормативные представления о науке могут быть названы *мифами о науке*, предназначение которых – поддерживать устойчивость культурной роли науки и тем самым предохранять систему культурных универсалий от нежелательных потрясений, даже распада, какими грозят серьезные трансформации смыслов этих универсалий. Такое название может рассердить тех, кто к слову «миф» относится как к обозначению чего-то, противного самой природе науки, что должно быть именно наукой преодолено. Но лучше спокойно поразмыслить над тем, что культурологи, психологи и даже философы науки называют «культурообразующей ролью мифа». Во всяком случае над тем, что эта роль выполняется различными



мифами по-разному в конкретные историко-культурные периоды, что она далеко не исчерпана и в наше время. Наука и миф – проблема, которую нельзя решать плоскими противопоставлениями в духе наивного «прогрессизма»¹⁷.

Характерная особенность этих мифов (я позволю себе использовать именно это слово, а тех, кого оно шокирует, попрошу понимать его... хотя бы метафорически!) в том, что они «облачены в научные тоги», т.е. оформлены, как это принято в науке, но отличаются «ангажированностью», подчиненностью философски определяемым целям. Именно поэтому социально-эпистемологические концепции избирательны по отношению к интерпретируемым фактам (тому материалу, который поставляет им комплекс научных дисциплин о познавательных процессах). Их часто за это упрекают, но такие упреки – в свете того, что было сказано выше, – бесполезны. Например, если существуют факты, которые не укладываются в схемы Мертона, то их проще объявить «патологиями» или «признаками дисфункции». Собственно, Мертон так и делал, а когда «дисфункций» отмечалось слишком много или они играли чересчур заметную роль, ему приходилось объявлять поведение ученых «амбивалентным», т.е. колеблющимся между нормами и отклонениями от них. По Мертону, успешность науки гарантируется тем, что ученые все-таки находят некий *средний путь* так, чтобы их действия способствовали «нормальному» развитию науки¹⁸. Это позволяло ему оставаться приверженцем мифа о Большой науке как ценности, с которой он не мог и не хотел расстаться, хотя вносил в него некоторые уточнения и добавления. Кое-какие из них стали не менее известны, чем сама концепция «нормативного этоса ученых», например «эффект Матфея», хрестоматийный в социологии познания: маститый ученый и малоизвестный труженик науки за одинаково значимые результаты получают отнюдь не равное вознаграждение (как в виде почестей и признания со стороны научного сообщества, так и в виде различных выплат)¹⁹. Ну да, «эффект Матфея» не очень согласуется с нормой бескорыстности (разве что предположить, что получающий почести и

¹⁷ Об этом – глубокие работы К. Хюбнера (см.: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996; *Он же*. Прогресс от мифа через логос к науке как теоретико-познавательная проблема // Разум и экзистенция. Анализ научных и вненаучных форм мышления. СПб., 1999. С. 114–125; см. также: Деннерт В. Мифические формы мышления в науке на примере понятий пространства, времени и закона природы. Там же. С. 187–204).

¹⁸ См.: Merton R. The Ambivalence of Scientists // Science and Society ; ed. by N. Kaplan. Chicago : Rand McNally, 1965.

¹⁹ Merton R. The Matthew Effect in Science // Science. 1968. Vol. 159. P. 56–63; The Matthew Effect in Science // Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. 1988. Vol. 79. P. 606–623.



деньги мэтр скрепя сердце мирится с этими обстоятельствами, из скромности или застенчивости не отказываясь от них). И что с того? Всегда можно заявить, что «признание со стороны сообщества может служить личной заинтересованности ученого в получении материальных и моральных благ, однако добиться его можно только путем скрупулезного соблюдения норм научного этоса»²⁰. А на факты, которые этому противоречат, либо не обращать внимания (миф вообще не чувствителен к фактам), либо опять-таки прибегать к мало что проясняющему, но зато вполне согласному с мифом понятию «амбивалентности».

Все это годится, пока миф «работает», т.е. удовлетворяет определенным культурным запросам. Но запросы могут измениться, и тогда настает пора новых мифов. В последней четверти XX в. концепцию Мертон стали живо критиковать и «улучшать», чтобы приблизить ее к реальности (иногда даже декларировали разрыв с ней)²¹. Говорили, что мертоновская модель поведения ученых, якобы всегда обеспечивавшая науке наилучшую функциональность, была ошибочной «универсализацией» особенностей, какие имели место только в определенный период развития науки. Кроме того, «она описывает статичный набор норм и не учитывает переменные предпосылки, которые могут оказать влияние на продуктивность интеллектуальных процессов»; для изменившихся исторических условий, в каких работает наука, лучше подходит «модель теоретических групп» Гриффита и Маллинза²², которая могла бы быть «интегрирована в более общую картину научных инноваций, если бы включала также структуру соперничающих теоретических групп и длинной последовательности стадий, через которые они проходят»²³. Эти замечания вроде бы относятся к методу социологических исследований Мертона, а не к их философской интерпретации. Но если приглядеться, за ними стоит спор различных эпистемологий.

Возьмем, например, критику мертоновской концепции И. Митроффом. В 1970-х гг. он опубликовал данные, полученные при изучении действий группы ученых-селенологов и свидетельствующие, по его мнению, о том, что этос успешно-

²⁰ Конов В.И. Принципы научного самоуправления в современной социологии науки // Философские науки. 2007. № 4. С. 3.

²¹ См.: Barnes S., Dolby R. The Scientific Ethos: a Deviant Viewpoint // Archives Européennes de Sociologie. P., 1970. Vol. 11, № 1. P. 13.

²² Griffith B., Mullins N. Coherent social groups in scientific change // Science. 1972. Vol. 77. P. 959–964.

²³ Коллинз Р., Рестиво С. Пираты и политики в математике // Отечественные записки. 2002. № 7. – www.strana-oz.ru/numbers/2002_07/2002_07_42.html.



го научного коллектива прямо противоположен тому, какой Мертон считал свойственным науке как таковой (вместо «универсализма» – «партикуляризм», вместо «бескорыстности» – «скаредность», вместо «организованного скептицизма» – «организованный догматизм» и т.п.)²⁴. Вряд ли разумно полагать, что за 30 лет нормы этоса ученых сменились на противоположные и более тщательный (или, страшно сказать, более добросовестный!) социологический анализ эти изменения зафиксировал. Скорее дело в том, что философская интерпретация социологических данных (влияющая, конечно, и на их отбор) у Митроффа иная, нежели у Мертона. Не случайно, что именно в эти годы изменяются воззрения на науку, фиксируемые в философских дискуссиях 1960–1970-х гг., в которых громко звучали голоса критиков абстрактно-рационалистического идеала науки (П. Фейерабенд и др.).

А потом наступило время иронической критики *любых нормативных изображений науки*. И впрямь, что за нормативность, если так легко заменить нормы «антинормами», т.е. показать удручающую симметричность положительных и отрицательных модусов поведения ученых. С. Фуллер пишет, что «нормальной науке», по Куну, присущи черты «мафии, королевской династии и религиозного ордена»²⁵, что ученые во все времена двурушничали и лицемерили, сопровождали призывы к интеллектуальной свободе полной безответственностью, когда речь шла о социальных последствиях их деятельности, льстили авторитетам с расчетом получить добро на публикации и т.д.²⁶ О нормативном этосе как факторе функциональной успешности науки, казалось бы, вообще пора забыть, когда приходят тяжкие времена для науки в целом или для отдельных ее отраслей, как это случилось в России после того, как рухнула система имперского патронажа, резко упало финансирование и наука беспомощно ввалилась в дикий рынок со всеми печальными для нее и для отечественной культуры в целом последствиями.

Но в ситуации общего функционального кризиса науки, как это ни парадоксально, поведенческие нормы ученых остаются более или менее стабильным условием выживания и даже порождают надежды на выход российской науки из коматозного состояния (разумеется, при условии, что «инновационные стратегии развития страны» не станут пропагандист-

²⁴ Mitroff J. The Subjective Side of Science. A Psychological inquiry Into the Psychology of the Appolo Moon scientists. Amsterdam, 1974.

²⁵ Fuller S. Kuhn vs Popper. Revolutions in Science. Cambr. : Icon Books, 2003. P. 46.

²⁶ См.: Fuller S. Science. Buckingham : Open Uni Press and Uni of Minnesota Press, 1997.



ским маневром власти, а получают реальную перспективу). Возможно, именно в ситуации кризиса «бескорыстие» ученых как принцип этоса проходит решающую проверку, и над этим уже не так легко иронизировать. Ссылаться на статистику здесь бесполезно (конечно, факты не трудно отсеleccionировать так, что нормативный этос Мертона станет совсем уж беспомощной мишенью; но, возможно, именно те не такие уж редкие случаи, когда ученые соблюдают нормы, хотя это и выглядит невозможным, оставляют надежду, что российская наука все же имеет достойную перспективу).

Мифы о науке, лишенной нормативных ориентиров, науке, едва ли не более аморальной, чем общество, в котором она существует, пришедшие на смену мифу о науке как о модели нравственного и демократического общества, были востребованы, когда с представлений о науке нужно было снять флер наивного оптимизма. Но проходит время, и культуре требуются новые мифы, в чем-то похожие на прежние, но в чем-то и расходящиеся с ними.

Это, на мой взгляд, демонстрирует культурную роль мифов о науке. «Мифы о науке – это полезные иллюзии, без которых ее мораль не могла бы существовать»²⁷. Авторы цитируемой работы предлагают видеть в нормах научного этоса не императивы, а некие образцы-ориентиры, предназначенные не для того, чтобы им безоговорочно следовать, но чтобы уменьшать возможное зло как следствие отступления от них. Между нормами мертоновского типа и реальным поведением ученых есть существенный зазор, и осознание этого факта предохраняет как от этического ригоризма, так и от этического релятивизма. Конечно, это не согласуется с моделями науки, базирующимися на «абсолютистских» представлениях о научной рациональности²⁸, но зато соответствует «функциональной» методологии науковедческих (в том числе социологических и психологических) исследований.

Итак, плюрализм интерпретаций социологических исследований научных процессов получает с приведенной здесь

²⁷ Аллавердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г. Психология науки. М., 1998. С. 290.

²⁸ См.: Порус В.Н. Парадоксальная рациональность // Рациональность на перепутье. Кн. 1. М., 1999. С. 338–365.



точки зрения вполне рациональное объяснение. То, что оно отсылает к культурологическим терминам, на мой взгляд, естественно указывает определенную перспективу развития социальной эпистемологии и методологических рефлексий над ней. Так на почве социальной эпистемологии прорастают возможности рационализации того, что часто «выводится за скобки» рациональных объяснений, а именно, влияние культурной среды, в особенности культурно значимых ценностей, на формирование корпуса «знаний о знании». Думаю, что это важный аргумент в пользу утверждения философского статуса этой области исследований.